

Здравствуй, солнце, быстрее бы зима

Сегодня я встретила Аню.

Аня когда-то училась с нами на психфаке, мы ее называли «здравствуй, солнце!», потому что она входила в аудиторию, длинная везде, устремленная телом вверх, тонкая, с шеей жирафа и головкой змеи. Головка на фоне ее длинных тонких ног, длинной талии, длинной, вытянутой вверх шеи, и правда была змеиная, маленькая, с гладко зачесанными назад каштановыми волосами.

Аня все время улыбалась вздернутой губой, постоянная вздернутость верхней губы обнажала хорошие мелкие зубы, но было в этом что-то болезненное. То ли вправду улыбается все время этой прекрасной жизни, то ли невротическое что-то.

И вот Аня каждый раз входила в аудиторию, подходила к осеннему окну, за которым хмуро бродили тучи, сыпало какое-то ноябрьское месиво с неба, а Нева была свинцовой...

Подходила к окну и громко произносила: «Здравствуй, солнце!» То есть, узнаю тебя, жизнь, принимаю. И приветствую вздернутой губкой, обнажающей белые зубки.

Где она там видела каждый день солнце, никто не понимал. Точно так же Аня могла подходить к окну и восклицать: «Здравствуй, Ниагарский водопад!» Или «Здравствуй, экватор!»

Мы, конечно, мысленно крутили пальцем у виска, Аня же сидела всегда отдельно, особняком — стройная, длинная, отдельная. Ей было все равно, чем мы там мысленно крутим.

На преподавателей она смотрела так, как будто что-то знала о них только она одна, от чего они немного сжимались и старались не смотреть в ее отдельную сторону.

В лютые морозы Аня ходила всегда без шапки, быстро и легко двигалась, никого не ждала, ни с кем особо не общалась, только с солнцем. Здравствуй, солнце!

Как ее змеиная головка не превращается в лед или не слетает с плеч от зимнего ледяного ветра, мы не понимали.

Вы ничего не понимаете, говорила одна из нас. Для нее же везде солнце! Ей тепло. И двигается вон как быстро. То ли от холода, то ли от солнца, которое у нее внутри и которое, наверное, и держит ее губу вздернутой в постоянной улыбке.

Прошло много лет. Сегодня я встретила Аню и сразу узнала. Она мало изменилась, только много лучей у глаз появилось за эти много лет. И каштановые волосы стали белыми.

На глазах черные очки, день был ярко-солнечный. Она меня долго вспоминала, потом вспомнила, сняла очки и вздернутой губой, теперь точно стало понятно, что это губа такая, а не улыбка, тогда, может быть и улыбка была, а сегодня только губа осталась от нее...

И губой своей незабываемой произнесла — терпеть не могу лето и солнце. Быстрее бы зима.

А за один день можно?

У нас в Тарту был один студент, который за месяц до начала сессии бродил по этажам общежития, останавливал каждого и спрашивал раздумчиво — а можно английский (эстонский, зарубежную литературу или латынь) за четыре недели выучить? Можно, но сложно, отвечали ему.

Через неделю он уже спрашивал — хватит ли трех недель, чтобы выучить английский (древнерусскую литературу, марксизм-ленинизм, лингвистику и русский фольклор).

Можно, но еще более сложно, отвечали ему.

Так студент дотягивал до одной недели, и уже отрешенно и обреченно, но с неким радостным блеском в глазах, останавливал опять каждого и спрашивал — а за одну неделю? Можно?

Можно, но практически и почти невозможно, отвечали ему.

И студент облегченно выдыхал — ну тогда я не пойду сдавать. Потом пойду, когда выучу.

Прошло десять лет. Студент все учился. Перемежая опросы про «а можно?» с академическими отпусками.

Опросы были те же. А можно за четыре, три, две и, наконец, одну неделю выучить русский, нерусский, физкультуру, основы психологии и преподавания русского языка в эстонской школе? Можно, но сложно, отвечали ему.

Наконец, он остановил необычную студентку, очень экзотического вида, расслабленную и томно-кокетливую, она все время закидывала куда-то руки за ноги, а ноги за руки, гибкая была и смешливая. А также богемная. Она ему понравилась.

А можно? — спросил студент. Чтобы завязать знакомство.

Можно. Прямо сейчас можно, ответила она, которой студент, уже зрелый по сравнению со всем общежитием, тоже понравился, своей зрелостью и незаконченностью бесконечного образования. Тоже оригинал такой оказался, как и она.

Можно, ответила экзотическая девочка, можно меня проводить до комнаты. И засмеялась, закинув руки студенту за шею.

И стали они жить счастливо, и до сих пор живут. Уже много лет.

Так незаконченный учебный гештальт студента стал началом любви, и разве это не судьба?

Судьба. Не зря по коридорам столько лет ходил и спрашивал.

Лишь бы не учиться, а жить и любить.

Глупые, злые, несчастные...

Сегодня в онкодиспансере роптала очередь.

Из кабинета врача выходил то один юный, в форме, УФСИновец с кобурой на бедре, то другой, а в проеме двери я увидела женщину лет сорока пяти, в наручниках, прикрепленных к другой сопровождающей в форме.

Бог наказал, произнесла одна онкобольная. Преступила закон и тут же и кара.

А вас за что Бог покарал? — спросила я. И посмотрела на ее перевязанное лицо...

Люди, люди... Что же вы произносите... Бедные вы, все несчастные, глупые, злые, несчастные.

Дама замолчала и отвернулась от меня, тоже злой.

Тут дверь открылась и к очереди присоединилась эта то ли подследственная, то ли заключенная женщина, сидела рядышком с надзирательницей, одним brasлетом связанные, беседовали мирно, как лучшие подружки.

Надзирательница была с малюсеньким личиком и длинным телом, а невольница чуть даже подкрашенная и с пышными волосами. В кроссовках и спортивном костюме.



Три пацана-срочника в форме сидели рядом со мной и жалели эту женщину. И все это на какое-то время примирило меня с жизнью.

Я представила Довлатова, который тоже когда-то вот так охранял, и подумала — что бы он написал про этот конвой онкобольной заключенной... Не получалось представить.

Потом вышла наша доктор и все объяснила конвоем и больной женщине, которая, я надеюсь, может быть, еще не больна, все же не больна... Потому что врач сказал — в следующий четверг привозите снова сюда, перепроверим стекла.

Срочники улынулись, сказали — может еще все будет хорошо, и похлопали женщину в наручнике по плечу.

А ее почти подружка в форме что-то ей шепнула на ухо, и они обе засмеялись.

Аааа, ну-ну, давайте навевайте нам сон золотой, вы еще не знаете, что они ТАМ вытворяют с заключенными! — слышу я голоса...

Не знаю? Ну, допустим. Ну, думайте, что не знаю.

Но то, что я видела сегодня, — это так и было.

Впрочем, может, вы и правы.

Как говорит моя подруга — у тебя все хорошие, кто головы не отрубает.

Про тайную вечерю

Сегодня сажусь в такси, а за рулем вылитый Параджанов.

Колоритный такой, ну вылитый сок граната.

— Доброе утро, — говорю.

А он мне вдруг:

— Тише! Я про Леонардо слушаю! Про тайную вечерю!

И громче делает, чтобы мой и так полудохлый голос заглушить.

Пришлось и мне всю дорогу слушать, тем более что я музеи не люблю, и мне стыдно. Всю жизнь краснею, но не люблю.

И что же я слышу?

А слышу я, друзья, диалог какой-то потрясающей женщины-искусствоведа и Владимира Соловьева.

Я всегда искусствоведов, особенно искусствоведок, побаивалась.

Потому что столько страсти и неземного восторга по поводу какой-нибудь картины, столько напора и уверенности в том, что так оно и есть, как она говорит, столько неподдельного счастья от встречи с прекрасным у меня и в помине нет.

Я не умею так влюбляться в картины или в скульптуры, при всей моей патологической и непростительной влюбчивости.

И вот я слышу, как под напором и восторгом искусствоведа, которая про Леонардо рассказывает и про предательство Христа, Владимир Соловьев прямо сам не свой стал. Прямо не он как будто.

Не ерничает, не острит, сам от себя не тащится, а тихо и печально как-то изредка отвечает и реплики грустные вставляет.

Он мне таким, лирическим, очень понравился, но пытаюсь понять причину этого сбоя в его ДНК и слушаю дальше...

Тем более что пробка глухая на набережной образовалась, и таксист мой колоритный вдруг произнес:

— Твою мать!

И вдруг прекрасная женщина-искусствовед голосом крещендо делает и как воскликнет:

— А ведь Леонардо голову Христа так и не дорисовал!!!

Соловьев от этого совсем скис и вообще замолчал.

Я подумала, что он в этот момент или голову дорисовывает на картине Леонардо, или к «Воскресному вечеру» готовится тихо, пока визави восторженно и страстно так рассказывает.

Потому что делать ему рядом с ней абсолютно нечего.

И вдруг я слышу, что все предатели, и Иуда, и Брут, потом с собой покончили.

Иуда повесился, а Брут на кинжал кинулся...

Женщина эта прекрасная и страстная четко артикулирует:

— Предают. Только. Близкие. Самые. Это могут быть и сыновья даже. И, понизив голос, сообщает, что есть версия, будто Брут был сыном Цезаря. И что Цезарь ему тогда горько сказал:

— И ты, Брут, детка...

Тут мой таксист наконец заговорил.

— Вот времена были. Предал и на кинжал бросается. Переживает, значит. А щас что? ТьФУ. Предаст и еще тебя зарежет.

Я робко вставляю:

— Так сейчас где кинжал купить? Негде...

И тогда опять Соловьев грустно так:

— Иуда все же помечен особо на картине... Хотя все, к кому Иисус обратился, что один из вас предаст, про себя подумали... Каждый подумал: не я ли предам? Или уже предал...

В общем, потрясающая беседа была, я много нового узнала, правда.

Потом передача закончилась и таксист говорит:

— Это мама его была, с вас шестьсот рублей.

Я опешила, спрашиваю:

— Чья мама была и где?

— Мама Соловьева была только что, вы что, не знаете ее, что ли? Анна Соломоновна... Ой, нет, Инна Соломоновна...

Я вышла совершенно потрясенная.

Сразу стало понятно, почему Владимир был такой тихий, скромный и печальный.

Потому что мама всегда в доме и на любой его передаче хозяйка, тем более такая прекрасная.

Но каков таксист, а? Вы таких видели?

Уже стемнело

Мне наш подъезд в Самарканде вспомнился.

Там всегда были открыты двери, весь день, у всех, это уже общее место про открытые целый день двери в те плохие времена...

Но что поделать, если это так и было.

Напротив нас жила семья секретаря горкома, этот секретарь была женщина, которую выпилили, вытесали, из коры дуба.

Волевой подбородок, маленькие глаза, большое грубоватое неженское лицо, профиль индейца. Партийный Чингачкук.

Муж ее был тихий, светлый, моль. Какой еще может быть муж у секретаря горкома... Покладистый, бесшумный, как будто все время проскальзывал мимо, а не проходил.

Была у них дочка с косичками, которая играла гаммы на черном пианино. Светлая, в папу, тоже моль, тихая.

Когда дверь приоткрывалась у них, было видно белоснежную накидку на черной крышке инструмента.

Мы их называли «стерильные», так было у них нечеловечески чисто. Какое-то безвоздушное пространство. Или наоборот, воздушное, летали они скорее всего по воздуху, поэтому ни пылинки, ни соринки, ни сдвинутой книжки, ни запахов, ни звуков, ни шорохов.

Секретарь горкома была хорошая женщина, улыбалась большим лицом с грубой кожей, дежурная улыбка, вежливая, но не фальшивая.

Под нами жили две сестренки, со старшей мы дружили, простодыра такая, безотказная и курносая, а папа их был директором винзавода, обаятельный лю-

бимец и любитель женщин. Другим директор винзавода не мог быть. Если бы я столько дегустировала, то тоже бы была любимица и любительница. Жена ничего не знала, как все жены. Мне давно кажется, что жены существуют для того, чтобы ничего не знать.

Над нами жила рабочая многодетная семья. Муж всерукий, всем все чинил, во всем доме, не пил, денег не брал, и помнится мне, что все ему тыкали, которым он чинил, мужчины тыкали, хозяйева квартир, в которых они были мужьями, но ничего не умели делать руками. И поэтому звали этого дядю Петю безотказного. Мне было неловко, что ему тыкают по барски безрукие мужики, я это помню хорошо, чувство это неловкости.

Его жена, расплывшаяся от нескольких родов, мягкая со всех сторон тетя Лена растила мал мала меньше, из ее кухни разносились самые вкусные запахи, а самая младшая Леночка, тоже, как мама, Лена, бродила целыми днями по этажам и всем говорила: «Здрасти, как ваши дела? мои хорошо».

У Леночки были длинные кудри, простецкое лицо, и она всегда просила у нас собаку — чтобы с ней на улице погулять или у нас дома поиграть.

Старшие их дети были с норовом, непонятно в кого, но с хорошим норовом, я помню, как трепетали их ноздри от гнева. Иногда мы собирались во дворе, я подлизывалась к ним как к взрослым, за это сидела с ними на скамейке южным остывающим вечером, и когда они возмущались чем-то, то ноздри их трепетали. Семейная черта такая была.

Недавно меня нашла эта Леночка, которая бродила по этажам, младшенькая... Живет в Подмоскowie.

Рассказала, что Петя, старший брат, красавец, погиб в армии, дядя Петя, отец, тоже Петя — они детей своими именами называли, Леночка, Петя... Дядя Петя, которому все тыкали в государстве рабочих, тоже рано ушел.

Подружку мою, простодыру, давно зарезал муж из ревности. Осталась дочка, которую воспитала бабушка, жена винзавода.

Она до сих пор не знает, что муж ей изменял.

Вспомнила всех, новости эти узнала, закрыла глаза... Вспомнила...

И увидела все лица, и почувствовала запахи из окон, наверняка те же, да услышала шум тополей в ночи под желтым от звезд небом.

И голос мамы из открытых окон веранды. «Алла, домой, уже стемнело. Слышишь?»

Слышу, мама...

Ноги

У Ленки были длинные и очень красивые ноги, очень.

Она была высокая, с длинными такими ногами невозможно быть низкой.

Высокая, с очень длинными и красивыми ногами, лучшими ногами в школе на улице Строительной.

Ленку было видно отовсюду, все пацаны смотрели только на ее ноги, потом все молодые люди смотрели только на ее ноги, потом все ее мужья и мужчины, параллельные с мужьями, тоже смотрели на ее ноги. Как будто больше ничего в ней не было: лица синеглазого, фигуры довольно красивой, души, настроения, мыслей. Девочка-ноги.

А тогда мы все любили космонавтов и радовались Дню космонавтики, а школа готовила праздничную линейку.

Младшие классы, мелюзга, изображали орбиту в виде круга, а Ленка возвышалась над ними, как ракета, и по сценарию должна была громко, на весь актовый зал сказать или пропеть: «Я ЗЕМЛЯ!» А все остальные по взмаху пионервожатой, вся школа, должны были подхватить эту песню, спеть и допеть.

«Я твоих провожаю питомцев! Сыновей, дочерей!» И дальше.

«Я ЗЕМЛЯ!» — звонко запела Ленка и обернулась к нам. По сценарию.

Мы молчали. Как будто сургучом рот залили. Растерялись.

«Я ЗЕМЛЯ!» — отчаянно повторила Ленка и снова повернулась к нам, вопрошительно.

Пионервожатая отчаянно махала руками, но почему-то все онемели.

«Я ЗЕМЛЯ...» Ленка произнесла это дрожащим голосом, заплакала и убежала.

Праздник был сорван.

Уже не вспомнить, почему мы не подхватили, как на репетициях, прекрасную эту песню, но помню, как все стали называть после этого Ленку Землей.

Во, Земля идет, говорили мальчишки, не сводя глаз с ее ног, редкой красоты были ноги. Такие ноги украсили бы не только коридор нашей школы, а любую планету, помимо Земли.

Ленка краснела, вспоминая свои дурацкие запевы, этот глас в пустыне, это Я ЗЕМЛЯ. Какие же вы сволочи, плакала она. Почему не подхватили? Мы же репетировали.

И уходила от нас, которые смотрели овцами на нее и не знали ответа. Правда, не знали.

Уходила, и все смотрели на ее ноги, не замечая ее слез и румянца обиды и позора. Ей казалось, что она выглядела полной дурой. Ужас, какой дурой.

Я дружила с ней долго, как-то позвонила после лета в дверь квартиры, она открыла и говорит — а у меня папа умер. Заходи.

В девятом классе они с мамой уехали в Подмосковье, Ленка пошла в новую школу, и все там смотрели на ее ноги, все хотели влюбляться в нее, тогда говорили «гулять».

Гулять пацаны хотели только с ней. Потом мужчины хотели с ней гулять. Потом мужья, их было несколько, и мужчины одновременно с ними, и всем очень нравились ноги, такие ноги не могли не влюбить в себя.

И даже врач скорой помощи с амбулантами из психиатрии, они приехали, когда она пыталась резать вены, увидели ее ноги и сказали — вот с такими ногами разве можно вены резать? Глупо с такими-то ногами.